

БЕГУНЫ И СПАСЁННЫЕ БУРСЫ

Очерк четвёртый¹



Николай
Помяловский



Первые впечатления бурсы на Карася были таковы, что не помоги Силыч, то он, как говорит сам, превратился бы в подлеца либо в дурака. Эти впечатления определили главным образом весь дальнейший характер его бурсацкой жизни.

По отношению к начальству он сделался полнейшим, закалённым, пропечённым бурсаком... Главное начало товарищества, ненависть к своему начальству, в нём укоренилось и развилось более, нежели в ком другом. Он получил доучилищное воспитание довольно гуманное и честное, но бурса должна была положить на него своё клеймо. Лобовская порка сделала то, что он после её никогда уже не мог обращаться со своим начальником просто, спокойно и откровенно. Доверенность к начальству в нём была убита сразу и навсегда. Это главным образом выразилось в том, что он никогда не мог смотреть начальнику прямо в глаза, а всегда исподлобья; никогда не говорил естественным голосом, а заунывным и фальшивым, гробовым и нижнетонным; всегда пред начальником ёжился и потому не любил встречаться с ним. Он каждую минуту точно чувствовал себя провинившимся, хотя бы и ни в чём не был виноват. Это странное чувство, заставлявшее держать себя так, не было следствием страха, потому что, как увидим ниже, Карась не был очень труслив, часто решался на дерзости и штуки, на которые решались немногие. Дело вот в чём. Карась положительно сознавал, что он ненавидит бурсу, её воспитателей, её законы, учебники, бурсацкие щи и кашу — и в то же время должен покоряться начальству, улыбаться перед ним, кланяться, а иногда и льстить даже. Держать себя прямо, высказываться без обиняков было нельзя, потому что заперют, и вот Карась навсегда сбычился пред начальством. Тут действовал не страх, а совесть. Когда сколько-нибудь честному человеку, уважающему свою личность, приходится гнуть спину, гнуть невольно, насильно, неизбежно, под страхом всевозможного заушения, тогда он будет гнуть её как человек, которого мучит совесть. В Карасе так и устроилось: либо он дерзок с начальником, либо смотрит каким-то чудачком. Многие педагоги, вероятно, чутьём чуют, что они нехорошие педагоги, когда преследуют таких учеников, как Карась, когда они строго говорят ученику: «Смотри прямо мне в глаза, имей лицо весёлое и спокойное, отвечай урок твёрдо и чётко!» — «Кто не может смотреть прямо в глаза начальнику, — утверждают такие педагоги, — у того совесть нечиста». Спорить нельзя, что это верно. Как же: ученик сознаёт ведь, что он должен плюнуть в лицо своего учителя, а вместо того должно улыбаться пред ним: на душе становится скверно, и улыбка выходит странная. Разумеется, Карась и сам не понимал, отчего он и говорит, и улыбается, и кланяется при встрече с начальником не по-людски; он не развился ещё до анализа и не мог определить, что тут действовала именно совесть; он это только инстинктивно слышал в себе и уже гораздо позже сознательно разобрал источник своих отношений к властям. Впрочем, изо всего этого никоим образом не следует, чтобы потупленность ученика пред учителем всегда была следствием затаённой ненависти первого к последнему: она может происходить от простой застенчивости. Но мы говорим только о Карасе. Такая замаскированная ненависть Карася изредка разрешалась откровенною с его стороны дерзостью, а без покровов сказывалась очень сильно за спиной начальства, когда гадили ему секретным образом. Правда, и самое гаженье начальству в первые годы не было призванием Карася, но, что увидим из дальнейших очерков, оно впоследствии, когда Карась развился несколько, сделалось его сознательным делом... Сначала, и именно в то время, которое берём, он инстинктивно ненавидел своих педагогов, а после дошёл до уверенности, что их следует ненавидеть, обязательно следует. Бо-

1

Продолжение.
Начало см.: НО. 2003.
№ 2.



язнь и совесть перед начальством в дальнейшем развитии его превратились в глубокую, органическую ненависть к нему. Но о втором периоде после. Теперь мы застаём его пока в состоянии этой придавленности и потупленности перед своими бурсацкими пестунами...

Но и в этот период своего развития, когда характер его ещё не успел вполне сложиться, Карась стал несколько оригинально к своим властям сравнительно с другими бурсаками, протестовавшими против начальства. Карась занял почти исключительное положение в бурсе. По крайней мере, половины вредных условий, имеющих злое влияние на бурсака, для него не существовало. Его человеческое достоинство было защищено простой, грубой, мышечной силой первого богатыря класса, и эта грубая сила спасла его. Ему не пришлось перед товарищами кланяться, лстить, говорить второкурсникам на ночь сказки, давать им деньги и булки, искать в их головах тварей разного рода, чесать пятки, бегать за водой и т.п. В продолжение бурсацкой жизни он только три раза дал взятку — и то подошли особые случаи. Он, под покровительством Силыча, ещё будучи новичком, скоро приобрёл все выгоды и льготы второкурсника. Четырёх лет, пока не исключили Силыча, достаточно было, чтобы привыкнуть Карасю держать себя независимо, он знать не хотел ни аудиторов, ни цензоров, ни старших. Но при таком положении он не воспользовался кулаками Силыча, чтобы угнетать других: его самого чуть не оглушили навеки, он этого никогда не забывал и с тех пор относился к властям из товарищей и к физической бурсацкой силе отрицательно, притом Силыч и сам не любил взяток и утеснений, потому не стал бы помогать в том и Карасю. Карась в редких случаях прибегал к его помощи; большею частью при нужде он сам дрался, и если бывал при этом поколочен, то обыкновенно либо ругался, либо пускал в противника камнем, книгой, линейкой; если же при схватке с более сильным врагом не случалось под рукой оружия, то он употреблял в дело зубы, когти и ноги, то есть кусался, царапался и ля-

гался. Нередко был Карась бит, бивал и других, но всё это было в порядке бурсацких вещей — и только. Поэтому-то покровительство Силыча, при таком направлении его, не навлекало на Карася неприязни товарищей. Многие даже любили его. Испытав на себе горькую участь незащищенного человека в бурсе, он нередко употреблял кулаки Силыча, иногда же свои зубы, когти и ноги в пользу угнетённых. В продолжение последних четырёх лет училищной жизни он постоянно был аудитором, часто терпел наказания за преувеличивание баллов — и только раз увлёкся взяткой. Постоянный его протест в защиту заключённых личностей выразился в том обстоятельстве, что он особенно любил дураков. Так, без него совершенно погиб бы *Петры Тетеры*, упоминаемый нами в прошлом очерке. Тетеры, обладавший воловьёю силою, по характеру был чистейший телёнок. Все его колотили, плевали на него, обирали его. Карась в продолжение полугода защищал его и успел-таки поставить своего Тетеры на ноги, даже до того, что сам однажды получил от него трёпку. Карась, не будучи сам дураком, любил глупцов, проводил с ними целые часы, беседовал с ними, играл, делился добром своим, помогал им. В этом, по-видимому, странном явлении выразился тоже своего рода протест против некоторых сторон бурсацкой жизни. Карась был привязан к своему родному дому, но большинство умных бурсаков, к которым он обратился бы со своими интимностями, непременно сделали бы ему смазь, потому что интимности на языке бурсаков носят название *телячьих нежностей*. Ни с кем так не был откровенен Карась, как с дураками, только с ними говорил о родном доме, вспоминал домашнюю жизнь, делил семейные тайны, только с ними был задушевен не по-бурсацки, а по-человечески. Карась, по чувству ложного стыда и боязни насмешек, не только скрывал внутреннюю, самую дорогую для него жизнь, но даже напускал на себя цинизм и сам смеялся над телячьими нежностями, так что это разноречие между внешним выражением и внутренним содержанием составило почти вторую натуру Карася. Но душа требовала отзвья, и Карась окружил себя особым родом дураками. Это род дураков честных, добрых, милых, задушевных. Благодаря бога, таких дураков немало на белом свете. Только в семинарии Карась вступил в дружбу с умными людьми. Но неужели, спросят, в бурсе Карась не нашёл ни одного человека умного, с которым мог бы поговорить по душе? Как не найти, но на первых порах он не сошёлся с ними, а потом так и пошло на долгое время.

Но всего оригинальнее относился Карась к бурсацкой науке. Поступив в училище, Карась знал более половины того, что требовала программа его класса. Учиться ему было легко. Только «Начатки», которые приходилось *жарить в долбяжку*, составляли для него такую же муку, какую испытывал один древний оратор, набивая себе рот камнями, чтобы усовершенствоваться в искусстве красноречия, но и то ничего: Карась набивал свой рот дрсевой тяжело прогрызаемых «Начаток» очень усердно. По другим наукам он шёл в первых, и не хотелось ему из-за одного предмета лишиться видного места в списке. Над чем товарищи просижива-



ли по целому занятию, он приготовлял в полчаса. Но это самое и повредило впоследствии его бурсацкой карьере. У него было очень много свободного времени, и Карась, учась таким образом два года, привык гулять и ничего не делать. Когда перешёл он в следующий класс, от него потребовались более усиленные занятия, и притом занятия бурсацкие, требующие особых туземно-специальных способностей, которые и развили в себе товарищи в продолжение двух лет, пущенных Карасём на ветер. Карасю хотелось и тогда гулять по-старому. *Долбёжники* скоро обогнали его, он спускался всё ниже и ниже, и дело дошло до того, что нотата была осквернена нулём Карасиным. Стали его сечь. «Что ж, — думал Карась, — посечёте да и бросите — самим надоест!» Он неудержимо стремился в Камчатку и, несмотря на розги, достиг своей цели. Здесь лень его развилась до последних пределов. В первый год он, по крайней мере, носил в класс книги, но на другой бросил и этот, по его мнению, дурной обычай. В сундуке его безобразно были перемешаны между собою ключья порванных вдоль и поперёк разных грамматик, арифметик и хрестоматий; писчая бумага шла на беспутное маранье, перья на свистульки и пушки, заряжаемые картофелем, репою и жёваною бумагою, нож перочинный для порчи столов и строганья палок. Вначале Карась приходил к своему аудитору каждое утро, чтобы сообщить ему свой учёный нуль, но потом, для сокращения занятий, он объявлял ему ноль на целую неделю; но, наконец, ему надоело и это — он однажды сказал аудитору: *«навек мне ноль!»* Таким образом, Карась очень решительно отрицал и внешние, и божественные науки бурсы. Изредка являлось в нём какое-то тёмное сознание необходимости учиться, он брался за книжку, но книжка валилась из рук. В одно время двоюродный брат Карася, кончивший курс семинарист, стал требовать к себе нотату и следить за его учением, но Карась нашёлся и тут: он сделал другую нотату, свою, и этот документ, с отличными отметками против своей фамилии, отсылал к брату, за что и получал от него гостинцы. Сначала он ленился собственно потому, что было ему приятно лениться, но после дошло до того, что его *«навек ноль»* было возведено в сознательный принцип. Учитель Краснов обратил на него внимание, заставил его сидеть над книгой и в неучебное время, в своей квартире; против системы Краснова не устоял Карась и стал зубрить учебники, но когда его насильно заставили занять второе место в списке, тогда-то и созрел окончательно его бурсацкий *«навек ноль!»*. Он возненавидел вколоченную в него науку, и она поместилась в его голове как непрошенный гость; значит, в существе дела, он продолжал отрицать её — разница в том, что прежде он не понимал, что такое отрицал, а теперь, выучив урок, знал, что вот именно этот урок, эти страницы, эти слова ему не нужны. Тогда он стал следить и изучать каждый урок, как злейшего своего врага, который без его воли владел его мозгами, и постепенно, с каждым днём, открывал в учебниках множество чепухи и безобразия; это развило в нём анализ и критицизм, и впоследствии, отвечая бойко

урок, он в то же время думал про себя: «этакую, святые отцы, я дичь несущую». Карась после долгих личных исследований вполне убедился, что бурсацкая наука, изучаемая иначе, может погубить человека и что только при его методе она послужит материалом, поработав над которым, как над уродливым явлением, можно, не заразившись чепухой, развить в себе мыслительные способности, анализ, остроумие и даже опытность житейскую. И не догадывались богомудрые педагоги, что многие хорошие ученики относились к их учебникам, как психиатр относится к печальному явлению сумасшествия. Вот чем и объясняется то странное обстоятельство, каким это образом из бурсы выходят так много дельных и даровитых людей, несмотря на то что они поглощали учение, ставшее посмешищем всех образованных людей. Как, обыкновенно спрашивают, они не погибли, не ошались и не оглупели, как сохранились они? Очень просто: в душе их относительно местной науки глубоко укоренился нуль... И да процветает бурсацкое «во веки нуль!». В нём бурсака спасение. Итак, нуль, во веки нуль, во веки веков нуль! Аминь, что значит — истинно, или да будет!

Вот вам более или менее подробная характеристика того, что создала из Карася бурса. Отношения его к начальству выразились во всегдашней потупленности, которая была признаком совестливости, рождавшейся от сознания своей ненависти к властям; отношения науки оказались вечным нулём; среди товарищей, исключая последних трёх семинарских лет, он не нашёл отрыва той стороне своей жизни, которая была всего дороже для него, составляла главный мотив всего его бурсацкого существования, то есть отрыва своей привязанности к дому, — и одни лишь дураки были его душевными приятелями.

Этот-то мотив и был главным двигателем тех походов и действий Карася, которые мы хотим изложить далее и которые случились на четвёртом году его пребывания в бурсе.

Воздух первоуездного класса наполняется странными напевами и голосами.



— Братие, не дерите платил, а берите нитки и зашивайте дырки, — читает кто-то на манер чтения «Апостола».

— Не мешай, — говорят ему соседи...

— Марфо, Марфо, что печалишился и молвиши о мнозе, — продолжает чтец...

— Замолчишь ли ты, сволочь?

— Печали и болезни вон полезли.

— Слушай, скотина, перестань...

— Ему же дань — дань, ему же честь — честь, а что и за честь, коли нечего есть?

— Братцы, ударьте его хорошенько!

— И бысть слышен глас с небесе — *тптрпу!* Вдруг чтец замычал — ему сделали очень невкусную смазь. В классе сегодня обиход церковного пения, и чтец был наказан за то, что мешал другим петь.

— Я, — говорит Лапша Голопузу (оба отличные знатоки обихода), — шарарахну по нотам.

— А я, — отвечает тот, — дергану по тексту.

— Валяй!

— Лупи!

— *Ми-ре-ми-фа-соль-фа-ми-ре*, — запевает Лапша.

— *Все-е-ми-и-и-рну-у-ю*, — аккомпанирует Голопуз каждым слогом в каждую ноту Лапши.

Шарарахнуть по нотам, когда другой певец в то же время дерганет по тексту, и при этом не сбиться — составляло венец церковно-обиходного пения.

К певцам подходит четырнадцатилетний Карась.

Лицо его озабочено; он, по всему видно, ожидает учителя с тоской и страхом.

— Братцы, — начал он...

— Поди прочь, не мешай, — ответил Голопуз.

Но Лапша был добрее:

— Чего тебе? — спросил он...

— Не знаю, как *«Господи, воззвах»* на седьмой глас. Покажи, Лапша.

— Слушай! — и Лапша запел: *«палася, перепалася, давно с милым не видалася»*. Так же поётся и на глас. Ну-ко, попробуй.

— *Господи, воззвах к тебе, услыши мя, услыши мя, господи*, — запел Карась.

— Напев тот, только различишь сильно...

— А как на пятый глас?

В ответ Карасю Лапша запел:

— *Кто бы нам поднёс, мы бы выпили.*

— А как на четвёртый?

— Слушай: *«шёл баран: бя, бя, бя»*. Пой!

Карась на новый напев затянул: «Господи, воззвах». Отправляясь на заднюю парту Камчатки, он всё твердил: «палася, перепалася», «кто бы нам поднёс» и «шёл баран». В обиходе церковного пения употребляется 8 гласов, или напевов, на текст «Господи, воззвах»; слова одни и те же, а напевы разные. Это сильно затрудняло бурсаков. Вот аборигены ещё бурсы и придумали разные присловья, по образцу которых нетрудно было припомнить, как поётся тот или другой глас... Но Карась не был одарён музыкальным ухом, за что давным-давно его выгнали из семинарского хора. Через несколько минут он перепутал напевы. Посмотрел Карась на Лапшу и Голопуза, думая, не пойти ли опять к ним, но, махнув рукою, оставил это намерение. «Всё равно не пойму», — заключил он и печально опустил на ладони голову.

Горек пришёлся ему обиход церковного пения.

Странное явление этот обиход. В церковной практике он никогда почти не употребляется. В состав его входят разные духовные песни. Музыка их сильна замогильным какофонием: она до того тягуча, что на один слог текста иногда приходится до семидесяти и более голосовых такт — и всё нижними, заунывными, душу тянущими, тошнющими нотами. И какая филармоническая голова ввела в бурсу и узаконила в ней это обиходно-церковно-музыкальное безобразие? Обиход был обязателен для всех, но не все имели голос или верное ухо, — были картавые, гугнивые, заики, имевшие зуб с присвистом — что было делать таким? — ничего: свищи соловьём и воспевай господа славу! Во всём блеске обиходное козлогласование являлось тогда, когда учитель назначал общее пение, хором всего класса, когда «поющими и зывающими» были голосистые и безголосые, даровитые и бездарные: в то время в воздухе совершался террор музыкальный, и петый *богородичен* представлялся партитурой из какой-то дикой византийской оперы, партитурой, о которой хочется сказать, что это отрывок из оперы «Заткни крепче уши». Удивляемся только, как не заклёпаны уши бурсаков так называемым *столповым* пением? Но, характеризуя обиходные композиции, мы должны сказать, что с них тошнило и само начальство, которое, кроме того, понимало, что не все же могли быть певцами, и потому на обиход не обращало внимания, незнание его не служило препятствием для перехода из класса в класс, даже и нотаты не существовало по этому предмету, потому что уроки прекращались иногда на целый год. Но направление бурсацкого образования зависит от главного епархиального начальника, со вкусами которого сообразуются училищные власти, а в то



1

Провинившихся в училище иногда бывало до ста человек сразу. Лишить такое количество, пятую часть всех учеников, обеда либо ужина, очевидно, было выгодно в экономическом отношении. Почти все эконо́мы брали это во внимание и старались распространить наказание голодом. И действительно, наказание голодом было немаловажным источником так называемых остаточных сумм, из которых начальству даются награды. Скоро ли педагоги убедятся, что голодный ученик так же негоден для науки, как и обвешанный? Не знаем. Только наверное можем сказать, что эту простую истину позже всех поймут эконо́мы учебных заведений.

2

Сытое брюхо к ученью глухо (*лат.*). — *Ред.*

время, которое нами взято, старшим начальником был любитель всевозможной *столповщины*, и вот бурса наполнилась обиходным воем. Одно к одному, и учителем обихода поступил некто Всеволод Васильевич Разумников. Он один преподавал обиход в нескольких классах. Разумников обладал хорошим баритоном, отлично знал ноту и порядочно играл на скрипке.

О Разумникове мы должны сказать несколько слов, потому что он был одним из лучших педагогов бурсы. Мы упоминали о нём в первом очерке как о честном эконо́ме училища. Он учредил должность *комиссара*, выбранного из старших учеников, обязанностью которого было наблюдать за количеством и качеством пищи. Прежде служители, в заведывании которых находились жизненные продукты, имея каждый по несколько родственников, содержали их на счёт бурсацкого питания; но лишь только комиссар вступил в свои права, он тотчас уличил повара в краже тридцати фунтов мяса и двух мешков гречневой крупы, за что повар был изгнан из училища. По крайней мере, третья часть продуктов, прежде похищаемая служителями, была возвращена ученикам.

Кроме того, Разумников никого и никогда не наказывал лишением обеда и ужина, как будто боялся подозрения, что он из экономических¹ расчётов заставляет голодать провинившихся. Он всегда стоял против педагогического изречения: *satur venter non studet libenter*². Ученики за это любили его.

Он, кроме того, преподавал «закон божий» и «священную историю». И здесь он пошёл далее своих сотрудников. Он запретил носить в класс учебники и отвечать по ним. Рассказав ясно и толково урок, он тут же в классе заставлял повторять его со своих слов. Когда ученик не мог ответить, он заставлял другого растолковывать незнающему; если и этот оказывался плох, он поднимал третьего, четвёртого и т.д. Урок учился сразу всеми учениками и оживлялся спорами. Но и после этого многие плохо знали урок, особенно слабые, а Разумников хотел, чтобы у него все без исключе-

ния учились хорошо. Для достижения такой цели он постановил: «*авдиторы отвечают за незнание своих подавдиторных*». Авдиторы выбирались из лучших учеников, успевали хорошо выслушать урок вовремя, и потому они были обязаны учить своих подавдиторных в приготовительные занятые часы.

Для устранения случаев, когда ученик, по интриге с аудитором, являлся в класс с нулём, ссылаясь на то, что аудитор не хотел ему помочь, требовалось на то подтверждение со стороны товарищества, иначе незнающий подвергался сугубому наказанию, а аудитор был прав. Такие приёмы для бурсы были слишком прогрессивны. Лентяи были уничтожены Разумниковым. Но главное достоинство его нововведений состояло в том, что с ним сама собою падала власть авдиторов и второкурсных, они из притеснителей должны были превратиться в помощников своих подчинённых, из начальников в их братьев. Таким образом Разумников положил начало к уничтожению подлой власти товарища над товарищем. Он не уничтожил наказаний и даже был очень строг, но всё-таки явление такого учителя в бурсе было редкостью, тем более что в описываемое нами время и в других учебных заведениях, а не только в бурсе царили дремучая ерунда и свинство.

Одно лишь лежит на совести Разумникова — это обиход. Положим, что косноязычных и безголосых он оставил в покое, но держался вредного убеждения, что всякий, имеющий какой-нибудь голос, при старании непременно постигнет нотное искусство. Горше всех пришлось от него Карасю, тем более что у Разумникова была система наказаний особого рода: он наблюдал, на кого какое наказание действует сильнее. Он понял, что для Карася всего хуже неувольнение в родительский дом. Несмотря на то что Карась доказывал учителю свою бездарность изгнанием его из певческого хора, он ничего слушать не хотел.

Вошёл учитель обихода в класс и вместе с учениками пропел звучным голосом «Царю небесный», после чего прямо обратился к Карасю:



— Пропой на седьмой глас... Уши режет Карась.

Учитель говорит Лапше:

— Покажи ему.

Лапша заливается...

— Повтори, — говорят Карасю.

Уши режет Карась...

— И нынешний праздник не ходи в город...

— Всеволод Васильевич, я уже три недели не был дома...

— И четвёртую не ходи...

— Простите...

— А я вот что тебе скажу, — отвечал твёрдым, безапелляционным голосом учитель, — если ты не выучишься петь, я тебя на всю пасху не отпущу...

Учитель отошёл от него.

Карась побледнел и затрясся всем телом. Несчастный Карась. Замечательно широкая глотка, которою он был награждён от природы, служила вечным источником его несчастий. Ещё дома ему досталось, когда он закричал на поповну, дразнившую его, так яростно, что его голос был слышен за рекой. В бурсе его нарекли Карасём в тот момент, когда он, по приказу регента, пустил нотку, которая надорвала животы слушателям. Впоследствии, в семинарии, голос его развился до необъятного горлобасия, его выбрали опять в хор, и регент, по прозванию *Капелла* (он же *Редакция*, *Конструкция* и *Мелочная лавочка*), употреблял его как стенобитную машину, как хоровой таран: подойдёт крепкая нота, мигнёт регент — и рывкнет Карась, а при тихих потах ему велют молчать, — это оскорбляло Карася. Однажды Карась упражнял свой голос в комнате по соседству с семинарским экономом, он едва не оглушил его громовыми нотами, за что эконом, схватив Карася за шиворот, потащил к ректору и только по доброте своей помиловал его. Инспектор ненавидел его, говоря, что человек, обладающий рыканием льва, должен иметь характер зверский: должно быть, судил по себе, ибо, обладая семипушечным басом, несравненно сильнее Карасино, по натуре был настоящий зверь, за что и получил прозвище не рыбе, как Карась,

а звериное, ибо имя его — *Медведь*. Даже по окончании курса Карась, хвативши однажды чарочку-другую и вышедши на улицу, пустил такую руладу, что городской должен был внушить, что подобные рулады суть не что иное, как нарушение общественной тишины и порядка. Одно из сильных несчастий, причиною которых был голос, посетило его теперь. «С таким альтом, — думал Разумников, — невозможно не научиться петь». Неувольнение на пасху для Карася было глубоким несчастьем, которое подвигло его на многие скандальные похождения...

Он от слов Разумникова тихо плакал...

Кому горе, а кому радость. День поступления Разумникова в училище был днём торжества и счастья некоего Лапши... Лапша был чудак, парень шальной и благой. Широкоскулое серого цвета лицо, голова, почти вросшая в плечи, выдававшаяся вперёд неестественно грудь и остальная часть туловища, помещённая на коротких ногах, — делали фигуру его в высшей степени странную, попеременно то жалкою, то уморительною. Лицо его освещалось каким-то неразгаданным, постоянно меняющимся внутренним светом: оно серьёзно, даже угрюмо, но вдруг Лапша без всякой причины покраснеет, а потом раскатится смехом, и всё это совершается в нём быстро и неуловимо. Он при всём этом не был дураком. В лице его вы видите образчик бурсацкой застенчивости, которая особенно развилась от его несчастного безобразия. Не будь этой застенчивости, он, быть может, и не сидел бы в Камчатке. Таков был Лапша. Но он делался совершенно иным человеком, когда пел что-нибудь: значит, талант. Голосок он имел довольно приятный и владел тонко развитым слухом. Всегдашней, самой задушевной мечтой его было иметь свою скрипку и выучиться играть на ней, но мечта так и осталась мечтой: теперь он где-то пастухом монастырских коров и, говорят, отлично играет на рожке...

Подходит к Лапше Карась.

— Что тебе? — говорит Лапша, ёжась, двигая плечами и выпячивая своё странное лицо.

— Поучи меня обиходу.

Лапшу мёдом не корми, а только дай в руки обиход.

— Пойдём. Сначала надо ноты выучить.

Отправились они в Камчатку и затянули «ут, ре, ми, фа» и т.д.

— Не так: надо тоном выше!

Карась усиливается тоном выше.

— Чересчур высоко — теперь ниже надо!

Карась на новый манер.

Долго они упражнялись в церковногласии. Спотели оба.

Но вот Лапша съёжился, перегнулся, вытянулся, сделал сначала госкливую рожу, а потом вдруг поднёс к носу Карася кукиш...

— Это что?

— Кукиш!

Лапша после этого захохотал.



- Да что с тобой?
- Не буду учить...
- Голубчик... Лапша...
- Не поймёшь ничего...

Лапша убежал...

Остервенение напало на Карася. Он грыз свои ногти и, мигая глазами, усиливался удержать злую, солёную слезу, которая ползла на щёку.

- Когда так, к чёрту всё!
- Он ударил об пол обиходом...
- Проклятое училище! — проговорил он...

Карась начал вести себя неприлично. Если бы не проклятое наказание, Карась от среды до воскресенья провёл бы время, мирно почивая на лаврах, но теперь он был раздражён, и жизнь его пошла ломаным путём.

Подходит к нему один из его любимых дураков, бедная Катька.

- Нет ли у тебя хлебца?
- Этого не хочешь ли?

Карась предлагает голодному Катьке туго натянутую фигу. Катька отходит от него печально... Карась идёт развлечься на училищный двор.

— Карасики, пучеглазики! — говорит ему *Тальянец*, второкурсный мужлан старшего класса, ученик с вывороченными ногами.

- Кривы ножки, кочерёжки! — отвечает Карась...

Тальянец начинает его преследовать.

— На кривых ногах пять вёрст дальше! — отвечает Карась, пускает в него комом грязи и удаляется опять в класс.

Подходит к нему другой дурак, *Зябуня*.

- Карасик, — говорит он ласково.

— Ты что, животное безмозглое?

— Карасик...

— Поди прочь, пустая башка!

Пустая башка тоже отходит от него печально...

Карась стал несговорчив и несправедлив. Он чувствует это, и его начинает мучить совесть...

— Чёрт знает, какая тоска, — объясняет он приступы совести...

Идёт Карась ко второуездному классу, берётся за ручку двери и начинает стучать ею: ученики низших классов, не имевшие права входить в высший, так вызывали второуездных. Выходит ученик.

- Кого тебе?
- Тавлю.
- Сейчас.
- Вышел Тавля.
- Что тебе?
- Дай в долг.
- Сколько?

— Пять копеек.

— В воскресенье семь.

— Нет, уж после воскресенья, в другое. Я не уволен. Откуда ж мне взять?

— Тогда десять.

Карась задумался на минуту.

— Давай, — сказал он, махнув рукою...

Тавля отсчитал ему пять копеек...

Карась отправился в сбитенную, съел там на три копейки сухарей, а на две выпил сбитню. И угощение не успокоило его. Оно напомнило ему только домашний чай и кофе. Затосковал Карась.

— Боже мой, — проговорил он, — неужли не отпустят меня на пасху? Пойду, попрошу ещё Лапшу: не поучит ли? А нет! чёрт с ними!.. не выучиться мне!..

После того Карась из пустяков каких-то полез в драку, и хотя пустил в дело зубы, когти и ноги, как обыкновенно, однако его всё-таки поколотили...

Для Карася не было наказания тяжелее, как неотпуск домой! И вот ещё порядочный бурсацкий учитель Разумников не понимал же, что такое наказание гнусно, незаконно и вредно. Не понимают педагоги и понимать не хотят, что они когда запрещают человеку, в виде наказания, переступить порог отцовского дома, то этим самым вгоняют его в скуку, тоску и апатию, подвигают на скандалы разного рода, поселяют к уроку или нравственному правилу, за которое штрафуют и шельмуют, полное отвращение, лицемерное исполнение и страсть к запрещённому поступку. Неужли такие плоды в видах здоровой педагогики? Кроме того, чем виноваты отец и мать, когда они во время праздника, по приговору педагогов, не видят в своей семье сына, часто любимого, часто единственного сына? за что братья и сёстры лишаются свидания со своим братом? за что их-то наказывают педагоги? Воскресный день во многих семействах один только и есть свободный день в неделе — к чему же он туманится печалью по сыне или брате? Портить чужой праздник никто не имеет права, это дело нечестное, дело несправедливое. И неужели отец и мать, если они



любят своего сына, меньшее могут иметь на него влияние, нежели чёрствый педагог? Многие педагоги скажут на это: «да». Был же, например, болван, которого мы называли Медведем, семинарский инспектор, который привязанность к родному дому ставил ученику в преступление на том основании, что желающий быть дома не желает быть в школе, значит, ненавидит науку и нравственность, проводимые в ней. Диво, что такие чёрные педагоги, как лишённые деторождения, не наказывали детей за любовь к родителям!

Но таких педагогов скорее прошибешь колом, нежели добрым словом. Бог с ними. Лучше посмотрим, что случилось с Карасём, когда он страдал от мысли, что его не отпустят домой на целую пасху...

Учителем арифметики того класса, где был Карась, был некто Павел Алексеевич Ливанов; собственно говоря, не один Ливанов, а два или, если угодно, один, но в двух *естествах* — Ливанов пьяный и Ливанов трезвый.

Третья *перемена*, которая была после обеда, назначалась для арифметики... Стоят при входе в класс *караульные*, ожидающие Ливанова. Ливанов входит в ворота училища...

— Каков? — спрашивает один караульный...

— Руками махает, значит, того...

— Это ещё ничего не значит...

— Да ты не видишь, что он у привратника просит понюхать табак?

— Именно так... Значит, пишет по восемнадцатому псалму.

Караульные бегут в класс и с восторгом возвещают:

— Братцы, Ливанов в пьяном естестве...

Класс оживляется, книга прячутся в парты. Хохот и шум. Один из великовозрастных, *Пушка*, надевает на себя шубу овчиной вверх... Он становится у дверей, чрез которые должен проходить Ливанов... Входит Ливанов. На него бросается Пушка...

— Господи, твоя воля, — говорит Ливанов, отступая назад и крестясь...

Пушка кубарем катится под парту.

— Мы разберём это, — говорит Ливанов и идёт к столу. В классе шум...

— Господа, — начинает Ливанов нетвёрдым голосом...

— Мы не господа, вовсе не господа, — кричат ему в ответ...

Ливанов подумал несколько времени и, собравшись с мыслями, начинает иначе:

— Братцы...

— Мы не братцы!

Ливанов приходит в удивление...

— Что? — спрашивает он строго...

— Мы не господа и не братцы...

— Так... это так... Я подумаю...

— Скорее думайте...

— Ученики, — говорит Ливанов...

— Мы не ученики...

— Что? как не ученики? кто же вы? а! знаю, кто.

— Кто, Павел Алексеевич, кто?

— Кто? а вот кто: вы — свинтусы!..

Эта сцена сопровождается постоянным смехом бурсаков.

Ливанов начинает хмелеть всё больше и больше...

— Милые дети, — начинает Ливанов...

— Ха-ха-ха! — раздаётся в классе...

— Милые дети, — продолжал Ливанов, — я... я женюсь...

да... у меня есть невеста...

— Кто, кто такая?

— Ах вы, поросята!.. Ишь чего захотели: скажи им, кто?

Эва, не хотите ли чего?..

Ливанов показывает им фигу...

— Сам съешь!

— Нет, вы съешьте! — отвечал он сердито.

На нескольких партах показали ему довольно ядрёные фиги. Увлечшись их примером, один за другим, ученики показывали своему педагогу фиги. Более ста бурсацких фиг было направлено на него...

— Черти!.. цыц!.. руки по швам!.. слушаться начальства!..

— Ребята, *нос* ему! — скомандовал *Бодяга* и, подставив к своему носу большой палец одной руки, зацепив за мизинец этой руки большой палец другой, он показал эту штуку своему учителю... Примеру Бодяги последовали его товарищи...

Учителя это сначала поразило, потом привело в раздумье, а наконец он печально поник головою. Долго он сидел, так долго, что ученики бросили показывать ему фиги и выставлять носы...

— Друзья, — заговорил учитель, очнувшись... Господа, братцы, ученики, свинтусы, милые дети, поросята, черти и друзья захохотали...

— Послушайте же меня, добрые люди, — говорил Ливанов, совсем хмелея...

Лицо его покрылось пьяной печалью. Глаза стали влажны...

— Слушайте, слушайте!.. тише!.. — заговорили ученики.



В классе стихло.

— Я, братцы, несчастлив... Я женюсь... нет, не то: у меня есть невеста, опять не то: мне отказали... Мне не отказали... Нет, отказали... О черти!.. о псы!.. Не смеяться же!

Ученики, разумеется, хохотали. Пьяная слеза оросила пьяное лицо Ливанова... Он заплакал...

— Голубчики, — начал он, — за меня никто не пойдёт замуж, никто не пойдёт...

Рыдать начал Ливанов.

— У меня рожа скверная, — говорил он, — пакостная рожа. Эдакие рожи на улицу выбрасывают. Плюньте на меня, братцы: я гадок, братцы...

— Гадок, гадок, гадок, — подхватили бурсаки...

— Да, — отвечал их учитель, — да, да, да... Плюньте на меня... плюньте мне в рожу.

Ученики начинают плевать по направлению к нему.

— Так и надо... Спасибо, братцы, — говорит Ливанов, а сам рыдает...

У Ливанова была не рожа, а лицо, и притом довольно красивое, ему и не думала отказывать невеста, к которой он начал было свататься, напротив — он сам отказался от неё.

Спьяна Ливанов напустил на себя небывалое с ним горе.

Со стороны посмотреть на него, так стало бы жалко, но для бурсаков он был *начальник*, и они не опустили случая потравить его.

— Братцы, — продолжал он, — я отхожу ко господину моему и к богу моему... Я вселюсь...

— Смазь ему, ребята! — крикнул Пушка.

— Что такое? — спросил Ливанов...

— Смазь...

— Что *суть* смазь?

— А вот я сейчас покажу тебе, — отвечал Пушка, вставая с места...

— Не надо!... сам знаю... Сиди, скотина... Убью!.. Ах вы, каналы!.. Над учителем смеяться!.. а?.. — говорил Ливанов, приходя в себя... — Да я вас передеру всех... Розог!.. — крикнул он, совсем оправившись...

В классе стихло...

— Розог!

— Сейчас принесу, — отвечал секундатор.

— Живо!.. Я вам дам, мерзавцы!..

Хмель точно прошёл в Ливанове. «Что за чёрт, — думали бурсаки, — неужели в другое естество перешёл?» Но это была минутная реакция опьянённого состояния, после которого с большею силою продолжает действовать водка, и когда вернулся в класс секундатор, то он увидел Ливанова совершенно ошалевшим. Ливанов, стиснув зубы и поставив на стол кулак, смотрел на учеников безумными глазами.

— Розог, — сказал он, однако не забывая своего желания...

— Что, Павел Алексевич? — отвечал секундатор, смекнув, как надо вести себя...

— Розог...

— Все люди происходят от Адама... — говорил ему секундатор...

— Так, — отвечал Ливанов, опять забываясь, — а розог...

— Добро зело, то есть чисто, прекрасно и безвредно...

— Не понимаю, — говорил Ливанов, уставясь на секундатора.

— Я родился в пятьдесят одиннадцатом году, не доходя, минувши Казанский собор...

— Ей-богу, не понимаю, — говорил Ливанов убедительно...

— Как же не понять-то? Ведь это написано у пророка Иеремии...

— Где?

— Под девятой сваей...

— Опять не понимаю...

— Очень просто: оттого-то и выходит, что числитель, будучи помножен на знаменатель, производит смертный грех...

— Ты говоришь: грех?

— Смертный грех...

— Ничего не понимаю...

— Всякое дыхание да хвалит...

— Что хвалит?.. скотина!.. винительного падежа нет в твоей речи!.. чёрт ты этакой!.. По какому вопросу познаётся винительный падеж?

— По вопросу «кого, что?».

— Так кого же хвалит? что хвалит? чёрт ты этакой, отвечай!

— Чёрта хвалит.

Ливанов посмотрел на него злобно...

— Ты это серьёзно говоришь? — спросил он.

— Вот тебе крест. — Ученик перекрестился.

— Ты мне сказал «тебе»?

— Я, тебе, мне, мною, обо всех...

— Уйди!.. убью! — отвечал, озлившись, Ливанов, — прошу тебя, уйди!.. Я в пьяном виде не ручаюсь за себя...

— Он ушёл, — говорит ученик...

— Он?.. Что мне за дело до него?.. ты-то уйди!.. Чёрт же с тобой, скотина, — говорит опьяневший педагог, стуча по столу кулаком... — Не хочешь уйти? Так я же уйду... Я пьян... Я уйду...



Учитель после этих слов неожиданно встаёт со стула и направляется к двери. Его провожают хохотом, криком, визгом и лаем...

— Это всё пустяки, — говорит он, — в жизни всё пустяки, — и выходит на лестницу...

Лишь только он ступил на первую ступеньку, как тот же секундатор, следивший за ним, схватил его за ногу. Пьяный педагог полетел с лестницы вниз головой. Счастье его, что он не переломал себе рёбер...

— Оступился, чёрт возьми, — говорил перепачканный учитель, вставая на площадке, у которой кончалась лестница...

Подле него уже очутился секундатор, дёрнувший его за ногу...

— Вы, кажется, замарались? — спрашивает он. — Позвольте, я вас почищу.

— Не надо, друг мой, вовсе не надо... Всё пустяки...

Учитель, наконец, ушёл домой.

Вот каков был Павел Алексеевич Ливанов в пьяном естестве.....

Описанная нами сцена была в четверг. В субботу Ливанов явился в трезвом естестве. Ученики держали себя, как и Ливанов, иначе — прилично, разумеется, прилично по-бурсацки. С Ливановым, когда естество его переменялось, из пьяного переходило в трезвое, шутить было опасно. Вообще Ливанов был не дурной человек, хотя как учитель не выдавался из среды своих товарищей; но, по крайней мере, он не запорывал своих учеников до отшибления затылка... Лобов, Долбеёжин и Батька были представителями террора педагогического, Краснов и Разумников — представителями прогрессивного бурсацизма, а Ливанов был какая-то помесь тех и других: иногда строг до лобнических размеров, иногда добр бестолково. Во всяком случае, не любили шутить с Ливановым, когда он был в трезвом естестве...

Карась не выходил на сцену, когда был пьян Ливанов, но сегодня, когда шутки с Ливановым были опасны, он решился на скандалы...

Хотя Карась сидел в Камчатке и заявил своему аудитору «ноль навеки», но он был всё-таки довольно любознательная рыба. Вышел такой случай. Однажды от нечего делать Карась рвал арифметику Куминского; он в этом занятии прошёл уже до деления. Тут его злодеяния вдруг прекратились. «Деление? — подумал он. — А ведь я знаю деление... А дальше что?.. Именованные числа... Это что за штука?.. Сначала узнаю, а потом раздери...» Остановившись на такой мысли, он стал читать Кумянского и без посторонних пособий понял именованные числа. «Дальше дроби — это что такое?» — сказал он. Понял он и дроби... Всё это было пройдено им в три приёма. Значит, когда захочет человек учиться, то можно обойтись и без розги. «Дальше что? десятичные дроби... Не хочу читать... Довольно». После этого он Куминского обратил в клочья. Задано было о «приведении дробей к одинаковому знаменателю», и хотя у Караса стоял в нотате ноль, однако он знал урок, приготовив его без всякого поощрения и принуждения гораздо ранее, чем требовалось...

Учитель вызвал к доске *Секиру*. Секира, несмотря на то что был аудитор, путался...

— Дурак, — сказал ему Ливанов...

— Дурак и есть, — подтвердил Карась из Камчатки...

— Кто это говорит? — рассердившись, спросил Ливанов...

Ему дерзким показался отзыв Караса...

— Я, — отвечал Карась. — Помилуйте, Павел Алексеевич, не умеет привести к одному знаменателю: ну не дурак ли?

— Ах ты, скотина, — закричал Ливанов...

— Помилуйте же, Павел Алексеевич. Я сижу в Камчатке; значит, дурак из дураков, а всё-таки «приведение знаменателей» знаю!

— Если же ты не сделаешь мне «приведения», я тебя запорю...

— Запорите...

— К доске!..

Карась вышел и отлично ответил урок...

— Ну, не правду ли я сказал, что дурак он? — говорил Карась, показывая на Секиру. — Даже я умею это сделать.

Ливанов подошёл к Карасю и Секире.

— Дай мел, — сказал он Карасю...

— Извольте...

Взявши в руки мел, Ливанов сделал на лице Секиры крупный крест. Делая крест, он говорил:

— Пентюх, перепентюх, выпентюх!..

— Ну, дурак и есть, — подтверждал Карась...

После этого Карась отправился в Камчатку. Развлечённый на несколько минут своим ответом, он, однако, скоро начал скучать. Пришла ему на мысль предстоявшая опасность неотпуска домой на святую. Злость на него нашла, которую он и выместил на грифельной доске, попавшей ему под руки. Сняв с краёв её боковые планки, он хотел обратить их в щепы, но, приложив палец ко лбу, сказал себе: «Подожди, дружище, тут выйдет скрип-



ка». Из трёх планок он сделал треугольник, к вершине его прикрепил четвёртую, в треугольнике натянул верёвочные струны, добыл из розог, лежавших в печке, по соседству его, прут, из которого смастерил смычок, и таким образом устроил нечто вроде цевницы... Это заняло его на время, но в голову его опять приходит мысль о пасхе. «Черти, — думал он, — неужли так-таки и не пустят на пасху?.. Лучше бы пересекли пополам! Сколько хочешь секи, мне всё одно». — «Так ли? — рефлектирует он. — А вот попробуем». Карась берёт свою цевницу и начинает водить по ней смычком, то есть розгой...

Раздаётся на весь класс страшный визг, произведённый Карасём для скандала.

— Кто это? — спрашивает изумлённый учитель.

— Я это, — отвечает храбро Карась... Визг был до того неожидан и неуместен, что учитель растерялся...

— Что это значит?

— Ничего не значит.

— Скотина...

Карась сел спокойно. Учителя поразили этот случай, и потому только он не отпорол Карася...

«Врёшь, — думает между тем Карась, — ты меня отпорешь!» — и берёт в свои руки цевницу.

Раздаётся ещё сильнейший его визг...

Ливанов на этот раз вышел из себя. Он, озлобленный, бросается к Карасю. Карась же становится коленями на ребро парты...

— Я наказан, — говорит при приближении к нему Ливанова...

— Стой, скотина, весь класс...

— Буду стоять.

Учитель недоумевает, что случилось с Карасём. Однако мало-помалу он успокаивается.

«Нет, ты меня отпорешь!» — думает Карась...

Берёт он в руки цевницу и, водя по ней прутот, производит третий, сильнейший визг...

На этот раз Ливанов совершенно сбесился. Он бросился на Карася с поднятыми кулаками...

— Убью, мерзавец!

Карась струсил, видя разъярённого учителя, и когда Ливанов подбежал к нему, он вскочил на ноги и понёсся над головами товарищей, по партам, к двери, за которую и скрылся.

Учитель долго не мог прийти в себя.

Долго ходил учитель по классу. Он был страшно озлоблен и в то же время изумлён. «Понять не могу, — думал он, — что случилось с этим мерзавцем?» Факт выходил своею оригинальностью из ряда обычных фактов, и, должно быть, именно это обстоятельство сделало то, что Ливанов не донёс о Карасиных деяниях инспектору. Иначе Карасю пришлось бы целую неделю таскать из своего тела прутья: за подобные его дерзости в бурсе драли жестоко, до того жестоко, что после сечения относили в больницу *на рогожке*. Счастье Карася...

Но Карася всё-таки высекли в тот день. Он в озлоблении пошёл бить стёкла училища, был пойман на этом деле и хотя призывал всю небесную силу во свидетельство того, что он нечаянно разбил стекло, однако ему *влепили*, как выражается он, около пятидесяти.

Таким образом, наказание Разумникова имело свои добрые последствия: оно бесило только человека, а несколько неставляло на путь истины.

Посмотрим, что было после.